В тот час приступиша [апостолы] ко Иисусу, глаголюще: кто более есть в Царствии Небесном; и призвав Иисус отроча, постави его посреди их и рече: аминь глаголю вам, аще не обратитеся и [не] будете яко дети, не внидете в Царство Небесное; иже бо смирится яко отроча, той есть болий во Царствии Небесном; и иже аще примет отроча таково во имя Мое, Мене приемлет…

Благая Весть от Матфея, 18:1-5

…О ту сердитую зиму прозябал я в старенькой избе, что таилась в узкой таёжной пади, на отшибе старого байкальского села Култук. Щербатую улочку, коя вилась вдоль студёного ручья, сжимали крутые хребты, где в добрые времена шумела кедровая тайга, а ныне шелестит листвой реденький березнячок и осинничек.

Поддужными бубенцами отзвенели Введенские морозы, ночами крались Рождественские, а уж с небес косилась на село Крещенская стужа; зимующие птахи

таились в густых сосновых кронах, в дуплецах, и лишь дятел, трудяга, умостившись на ветхом фонарном столбе, лихо молотил сосновые шишки, и снег возле столба усеялся рыжими хлопьями. Близился и Спиридон-солноворот, когда солнце повернёт на лето, а зима на мороз. Солнце со Спиридона нарядится в праздничный сарафан и кокошник, сядет в телегу и тронется в теплые земли. Зима с сего же дня ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и будит баб ночью: «Бабы, топите печь!..» А коли Зима бродит по полю, то за ней вереницами метели; а коли по лесу, то сыплет из рукава иней; а коли по реке идет, то на три аршина воду куёт.

Бушевал пред ледоставом батюшка Байкал, и, словно в зачарованном царстве Мороза Иваныча, со скал и крутых яров свисали ледяные наплески, мерцали цветами радуги на ярком полуденном солнце, голубовато и призрачно светились в сумерках, рябиново рдели на алых зорях. А Морозко, малое чадо матушки Зимы, в лунные ночи колонковыми и беличьими кисточками малевал на стёклах синеватые листья и травы.

Я грел озябшие руки у чела русской печи, солово глядя, как синеватые, зеленоватые, багровые крылья огня колышутся над жаркими углями, словно девы-плясуньи в цветастых сарафанах; и дрёма, сладкая истома одолевали меня. Но вдруг я спохватился, хлопнул в беспамятный лоб: «Господи Иисусе!.. да завтра же у Маши именины!..» Яро поскрёб лохматую бороду: чем одарить, чем подивить дочь?..

Однажды на Машины именины сочинил корявый стишок «Маша и гречневая каша»: *«Папа сказки писал, папа шибко устал и… на топчан упал. А дочь его Маша съела три чаши гречневой каши, папу на руки взяла, искупала в Байкале и каши дала… Папа ожил и стал орать: «Хочу романы писать!..» Дальше про маму, упавшую в грядки, про сестру Алену, упавшую в акварель, и завершие: «Лишь восемь лет девочке Маше, но какая сила в гречневой каше!»*

Стишком, простым, что три копейки, пытался я привадить Машу есть гречневую кашу, которую дочь на дух не переносила, а за что эдакая немилость к сытной гречке, ныне смутно помню. Кажется, в детском саду перекормили… Написал я стишок и, помнится, домовито прикинул: впарить бы в лавку, где торгуют крупами …реклама же… и, глядишь, ребятишкам на молочишко…

И опять у Маши день рождения, опять я чесал затылок, гадая, чем порадовать дочурку. Увы, отлучиться в Иркутск я мог лишь на другой день ближе к вечеру, и вряд ли успел бы купить подарок; но, может, и успел бы до закрытия книжной лавки, где покупал дочерям русские сказки, да вот беда-бединушка: купил бы накупил, да купило притупило, — в пустом кармане блоха на аркане.

Пригорюнился, призадумался, повалился на топчан, укрытый овчинным тулупом, задремал и… цветным чародейным сном привиделась лесная сказка…

Я пробудился на закате дня и решил сочинить Маше сказку, где запечатлеть старика, вроде таёжного лешака, а потом — деда Савраску, бабку Малахайку и Алёнушку с Машенькой. Потешная байка про косопятого старика давно и озорно ворошилась в моем дремучем воображении, слёзно просилась на бумагу, но руки не доходили, отвлекали сказы да простушки-повестушки, сочинённые не для малых, а для старых. Сказка не увяла в памяти, а, словно яблонька, укрылась листвой, зацвела белым цветом, налилась сочным яблочком лишь благодаря дню рождения Маши.

Себя не похвалишь, кто похвалит; смалу и по сивую бороду любил я русские сказки, паче сибирские, отчего и запев браво выплелся, словно лукошко из тальниковых прутьев, а в лукошке — ягода морошка:

«В добром царстве, русском государстве жили-были дед да баба у самого синего леса. Деда звали Савраска, бабу — Малахайка. Жили они, поживали и добра наживали. И нажили под старость лет двух чадушек — Олёнушку да Машеньку... Дивная вышла сказка: в тайгу наладился дед Савраска. Землянику собирать, кости древние размять. Глянул в окошко: у калитки лукошко. Может, ребятёшки подкинули кошку?.. Узнать охота, вот и выбежал дед за ворота. Дивится: чтой-то в лукошке том шевелится?.. Размотал дед пелёнки, а там — девчонки-дарёнки. Обрадел дед Савраска да бабке Малахайке сказал: дескать, Боженька детишков послал…»

С натуры …чего мудрить… я и запечатлел характеры Алёнушки и Машеньки, дочерей своих:

«Олёнушка послушная росла, и звал её дед Умка. Деду с бабкой подсобляла: грядки поливала, травушку полола, рученьки колола. А после вечёрошней молитвы браво засыпала. Только Машенька не спит. Ножками сучит. Олёнушку дразнит… Стал дед Савраска ворчать и ругаться: «Вот Оленушка-то умка, а ты пошто такая чумка?! Эй, Косопят, борода до пят, забери-ка нашу Машу…»

Но Маша потом исправится, глядя на сестрицу Аленушку, ибо мой сказ, молвленный в лад народным сказкам, завершится ласково.

На рассвете — густой снегопад, а после полудня запуржило, заметелило, собаку встоячь заносило снегом; и рождалась сказка под вой метели в трубе, когда столь отрадно печное тепло.

Вот и опустился с небес студёный декабрь, — воистину, студень, стужайло[1]. С осени народилась уйма рябины, и волки выли за поскотиной, и дрова горели в русской печи с треском, полыхая не белым, а красным полымем, и кошка, свернувшись клубком, денно и нощно дрыхла на печи, — всё к лютому морозу. А ясными ночами в небе ярко цвели звезды-души: блестящие — благочестивые, тусклые — грешные.

На столешнице, крытой облинявшим зелёным сукном, среди чернильных пятен уложил я стопу писчей бумаги, взял остро очиненный простой карандаш и стал сочинять сказку; писал мелким почерком, словно мышка-норушка вытянула цепочку следов по белу снегу.

Сочинил сказочку вчерне, и надо бы довести до ума, переписать набело, но поленился, решил отпечатать на машинке, а уж потом сшить в книжечку, раскрасив цветными карандашами. Глянул на печатную машинку, и вдруг явилась сказочная дума… Под гнётом — стопами дородных книг — покоилась свежая береста, которую я тут же расслоил и разрезал на тонкие листы. Заправляя берестяные листы в машинку, отпечатал «Косопята...»; на полях пробил гильзой дырочки, и заплёл листы берестяной тесьмой. Не угомонившись, тут же докрасна накалил в русской печи гвоздь, и, зажав плоскогубцами, пустил по берестяным полям травяные кружева.

Когда посинели сумеречные окошки и заголосили горластые байкальские петухи, на письменном столе красовалась лесная сказка «Косопят-борода до пят», отпечатанная на берестяных листах. Припомнил я сказочную ночь, грустно улыбнулся: голь на выдумки хитра, — родилась самодельная книжка, не с пустыми руками явлюсь на Машины именины, а с лесным гостинцем.

Когда отведали пироги с грибами и румяные шаньги с брусницей и творогом, когда спели в хороводе: «Как на Машины именины испекли пирог из глины...», когда снова уселись за стол, я и вручил дочери берестяную книжку.

---

[1]*Студень, стужайло — так в старину называли месяц декабрь.*

Справили именины, и опять я задумался, почёсывая бороду: «А почему «Косопят…» лишь Машу потешает?! пусть и другие чадушки повеселятся…» И решил я заново отпечатать сказку, но уже на листах писчей бумаги…

Скоро сказка сказывается, да не споро дело делается… Отпечатал, изрядно поправив, а затем почитал, вслушался в сказку и чую: там и сям пустил петуха, словно певчий, коему медведь ухо оттоптал, — топтыга же. Глянул на сказку, как на цветастую роспись, вижу: и бедно, и бледно. Стал опять править, и эдак четырежды набело переписал, едва угомонился. Маша осерчало ворчала: мол, берестяная сказка была красивше… А Маша лет с восьми «Косопята…» знала наизусть, от зубов отскакивало; но не зубрила, сказка сама поселилась в душе, — на то она и сказка.

«Косопят…» узрел белый свет сперва в журнале «Сибирячок», потом в московском «Роман-журнале для детей». Прозвучал «Косопят…» на иркутском радио, где Косопята и деда Савраску играл артист Юрий Жигарьков, а Машу, Алену и бабку Малахайку — Маша. Вскоре театр поставил спектакль по мотивам сказки, и уж лет двадцать кажет ребятишкам.

И возмечтал я издать сказку цветной книжицей, посвятить книжицу Маше, поскольку Маше и подарил берестяного «Косопята…», Машу и вывел в образе сказочной Маши. Но-о… скоро сказка сказывается, не споро дело делается…

Сказочная судьба у «Косопята…» и косопятая: четверть века бился, колотился, чтобы издать сказку, но всё без прока. Уж и Маша заневестилась, а сказка так и не облачилась в книжный сарафан. Уж и художник Фёдор Ясников, лет десять игравший Косопята в театре, намалевал лубочные картинки, где шибко уж красиво вышел Косопят, словно Фёдор, глядя в зеркало, рисовал. Уж и посеяли мы акварели Фёдора, уж и художница Маргарита Марцинечко нарисовала другие картинки; уж и Марк Демидов умудрился поведать «Косопята…» по-британски; уж и готова была книжка к печати, но, увы… Ходил я с протянутой рукой, словно церковный христорадник, но и гроша не выходил.

«Косопят…» еще не обрел книжного облачения, а высоколобые ученые мужи, почитав на русском и английском, уже хлопали по плечу: браво… Помню, сочинил хвалебный отзыв даже американский профессор Майкл Майлам[2]:

«Anatoly Baiborodin has written a wonderful children's story, ***A Tale: Heel Twister — All-Beard-Mister***, that has the feel of a traditional Russian tale. The energy, vibrancy, and playfulness of the language turns the reading into a song. The rhymes are often quite unique, the neologisms witty without being pedantic, and the rhythm carries the tale with a deft lightness. M. Martsinechko's delightful illustrations also invoke the mood and style of the Russian fairy tale. And M. Demidov's translation renders a very creative Russian text into a very creative English… Dr. Michael C. Milam, *American Studies Chair, senior professor Irkutsk State Linguistic University*»[3].

Каюсь, прости Господи: гляну, бывало, ночным завистливым оком: в книжных лавках — цветасто наряженные книги писателей-приятелей, сочиненные для ма-

---

[2] *Майкл Майлам писал о сказке в 2007 году, когда служил профессором Иркутского государственного лингвистического университета и дружил с переводчиком и преподавателем английского языка Марком Демидовым.*

[3] *«Анатолий Байбородин написал чудесную русскую сказку для детей «Косопят-Борода до пят», в которой ощущается дух традиционного русского сказа. Энергия, мелодичность и живость языка превращает чтение в речитатив. Сами рифмы зачастую совершенно уникальны, неологизмы остроумны и лишены назидательности, а ритм ведет повествование сказки с изящной легкостью. Восхитительные иллюстрации Маргариты Марцинечко также порождают настроение и стиль русской сказки. Перевод же Марка Демидова воплощает высокохудожественный русский текст в высокохудожественное английское повествование… Д-р Майкл Майлам, зав. кафедрой американистики, профессор Иркутского Государственного Лингвистического Университета».*

лых чад; а рядом — аршинные книжищи в картонных переплетах, на блескучей бумаге, какие о ту пору издать, что пуд золота накопать. А я тоненькую книжицу, перед помянутыми книгами стоящую гроши, четверть века не мог издать. С шапкой по миру бродил и медного гроша не выбродил. Кланялся, гнул спину, — не переломится, с души не убудет, — да так, не солоно хлебавши, и махнул рукой на «Косопята...». Брались иные доброхоты, впадая в детство, но быстро матерели и остывали к детской сказке.

Четверть века томился «Косопят…» в ящике стола, словно в сумеречном чулане, где пауки денно и нощно плетут паутину, где шебаршит хлебной коркой мышка-норушка. И когда я махнул рукой на «Косопята…», случилось чудо, словно в сказке.

Помню: Входо-Иерусалимский храм, за высокими окнами синеет вешнее небо и желтовато светятся древние лиственницы, а захожане, вроде меня раба Божиего, заросшего грехами ...Боже милостив буди мне грешному… а с ними и оглашенные, и верные прихожане молятся Богу.

«Не впервой я в сем храме на молебнах и богослужениях, — писал я в очерке о двухвековой судьбе кладбищенского храма, — но вновь и вновь радостно дивлюсь: под родительской опекой уйма ребятишек, словно в сад-ясли угодил или выбрел на майскую поляну, где солнышками желтеют цветы-одуванчики, колышатся, словно кружатся в хороводе; и вспомнилось реченое Царем Небесным о детях: «Аминь глаголю вам, аще не обратитеся и не будете яко дети, не внидете в Царство Небесное: иже бо смирится яко отроча сие, той есть болий во Царствии Небесном; и иже примет отроча таково во имя мое, Мене примет; и иже аще соблазнит единого малых сих, верующих в Мя, лучше есть ему, да повесится жернов осельский на вые его, и потонет в пучине морстей»[4].

Увы, отвлекаясь от богомолья, невольно поглядывал на счастливые семейные пары, обвешанные чадами; зрел с душевной отрадой и светлой печалью — не сподобился семейно молиться в храме; зрел с надеждой — будут молиться за нас, грешных, и моления их, смалу боголюбивых, омытые слёзной жалью, узрит Господь. Наслышан: четверо — ребята старосты Алексея Дорошенко; видел: светло улыбались богомольцы, глядя, как смело и умело причащалась его малая дочь, коя и под стол бы пешком вошла. А их, отроче младо, к причастию выстроилась вереница, у иных — лики иконные, напоминающие отрока Варфоломея, будущего преподобного Сергия Радонежского, дивно запечатленного живописцем Нестеровым. Ох, сохранились бы их лики от рождения в мир сей до рождения в мир иной, не обратились бы в изморщиненные страстями, святочные хари.

Глядя на тех, что от горшка два вершка, забавно осеняющих себя крестным знамением, подумал… Иисус Христос въезжал в Иерусалим на жеребяте, и среди устилающих Его путь одеяниями и пальмовыми ветвями собрались толпы еврейских ребятишек, бескорыстно и восторженно вопиющих Христу: «Благословен грядый во имя Господне!.. осанна в вышних!..» Се вопили и отцы их, матери, старшие братья и сестры, хотя, спаленные страстями земными, ликовали не ради спасения души, не ради обретения Царствия Небесного, но лишь с ожиданием от Иисуса Христа земных благ и земного величия родному иудейскому народу. И, в отличие от детей, спустя четыре дня евреи уже кричали иное, страшное: «Да будет распят… Кровь Его на нас и на детях наших…»[5].

---

[4]Евангелие от Матфея, 18:3–6

[5]Евангелие от Матфея 27:23, 25).

После заутрени прихожане пили чай с постными пирожками — дар благодетельного купца; и за чаем разговорился я с Алексеем Дорошенко, что служил в храме старостой и алтарником, а в миру был купцом первой гильдии, говоря на древнерусский лад. После третьей чашки я осмелел, поведал Алексею о горемычной судьбе «Косопята…» и робко показал сказку в цветной распечатке. Повертел Алексей доморощенную, кустарную книжечку, полистал и говорит:

— Эх, отпечатать бы сказку на бересте… Ладно, хотя бы уж раскрасить обложку под бересту… А что, брат Анатолий, давай издадим сказку…

Я обомлел от радости, а благодетель размечтался:

— …тиражом эдак …в пять тысяч…

Я ошалело схватился за голову:

— Пять ты-ы-ысяч?!

И привиделся мне писатель-пустослов: гостил намедни и, озирая полки с книгами, укорил: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь… А я-то где?..» Я не смог покаянно сознаться, что его бедными и бледными стихами, отодрав золочёную корку, растапливал русскую печь на лесной заимке. «Украли…» — соврал я, прости, Господи. «Украли?!» — глаза горемычного сочинителя восторженно округлились, круглое лицо засияло; он даже смущённо захихикал, прикрывая рот ладошкой. Мне хотелось по-деревенски досадливо осадить приятеля: мол, чего ты лыбишься, как сайка на прилавке?! но я кивнул со вздохом: «Украли… Поклонницы, поди…». «А я тебе вторую книгу принесу…» «Опять украдут…» — я пробовал откреститься, но приятель успокоил: «И пусть воруют… — он опять счастливо хихикнул, ладошкой сдерживая смех. — А я другую книгу принесу…У меня же весь тираж на кухне. Жена ругается…» «И много?..» «Ажно тысяча…»

Вспомнил я писателя горюна, узрел пачки книг посреди кухни, и ужаснулся, когда Алексей замахнулся на дикий тираж.

— Куда такую уйму?!

— В детские приюты отвезём, — успокоил Алексей. — А потом Рождество Христово близко, вот ребятишкам и подарим…

Так и вышло: во Входо-Иерусалимском приходе издали цветную книжку «Косопят-борода до пят»; в Рождественский сочельник, что накануне Рождества Христова, уложили сказку в праздничные пакеты вместе с печатными пряниками и после божественной литургии малым чадам и вручили.

И пошёл «Косопят…» бродить по белу свету, и я следом. Помню, завернул в заснеженный детский сад; читал сказку говорливым детишкам, коих усмиряла детсадовская няня:

— Косопят придё-от, а кто шалит, того… заберё-от и в лес унесё-от!..

Прочитал, утёр пот со лба, интересуюсь:

— Вопросы есть?..

Вижу, отроче младо трясёт ручонкой. Думаю, любознательный — грядущий книгочей, а может, писатель, и дал слово малышу.

— А можно Вашу бороду потрогать?

— Бороду?! — оторопел я, но, поразмыслив, согласился: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

Согласился на свою шею, вернее, на свою бороду, ибо взметнулся лес ручонок, — все вдруг возжелали потрогать мою бороду. Эдакая честь моей сивой бороде и не снилась… Видимо, в детских головушках слился я со сказочным Косопятом, у коего борода седа до пят…

Не поспел я и глазом моргнуть, налетели озорные чада, мурашами забегали по мне, задергали бороду, зашиньгали, словно шерсть из кудели, примотанной к прялке. Оробел я, стал переживать: эдак и бороды можно лишиться…

Чудится, я родился в шелковой рубашке и с бородой до пупа, ибо, сколь ни щурю глаз, не могу усмотреть далекие лета, когда бросил скоблить рыло до синевы и дал волю бороде. Помню, летом гостил в прибайкальском селе, бродил в сосновом бору, что за околицей, и помню, возвращаясь с корзиной рыжиков, вывернул из проулка в улицу и столкнулся с мамашей, что вела за ручонку малого. Парнишонка выпучил глаза и кажет на меня чумазым пальчиком: «Дедя…», а деде лишь перевалило за тридцать, но борода до пупа. Знакомец, увидав меня с бородой, неприязненно усмехнулся: «Интересно, у нас писатель в люди выбьется, сразу бороду растит…», а у меня о ту пору вышла книга повестей. Восьмидесятилетняя мать моей приятельницы, свидевшись со мной сивобородым, укорила дочь: помоложе-то не могла найти?! завела себе кавалера старше меня; а я тогда лишь полвека прожил. И мать моя, за семьдесят лет наглядевшись на гладко выбритых советских мужиков и стариков, ворчала: мол, сбрей ты, парень, бороду; успеешь, находишься стариком… А забородател я лет в тридцать не за идею, от лени-матушки, что поперёд меня родилась, а позже возрос и до *бородатой идеи*[6].

Когда озорники, жаждущие потеребить мою горемычную бороду, свились в клубок возле бороды, воспитательница тут же властно разметала кучу-малу, утихомирила вертлявых и горластых, и чадушки следом за няней гуськом пошлепали в столовую, пахнущую манной кашей и компотом. Когда и меня угощали, вспомнил я со вздохом …Господи, полвека миновало… вспомнил, что сестрица Аленушка, старшая дочь моя, года два служила няней в детсаду, в той группе, где сестра Маша ума набиралась, и по блату Маше давала побольше каши. Вот Маша крепкая и выросла.

Помянулось и свое деревенское малолетство… Мать, Царствие Небесное, в детсад меня не пихала …то ли платить нечем, то ли вороватый рос и разорил бы несчастный детсад… а посему я, обдирая лохмотья с обгорелого носа, поддергивая семейные трусы …штанов по лету не полагалось… с лютой завистью зарился в заборные щели на детсадовских сверстников, что качались на качелях и кружились на цветастых каруселях: «Чё им не качаться? — налопались манной каши, напились компота… — и, слыша тоскливое урчание в голодном брюхе, грозился грязным кулачком. — Погоди, дождетесь, ночью заберусь и переломаю все ваши качели, карусели…»

Затем помянул я компотом и сестру Валю, Царствие Небесное ей, воспитательницу того же детского сада, где я, отроком целивший в художники, заглядывая в сказочные книжки, малевал акварельными красками сестрицу Аленушку и братца Иванушку, Ивана-царевича, взнуздавшего серого волка и в обнимку с царевной скачущего выше леса дремучего, а потом — Кокованю и девчушку Даренку из бажовского сказа «Серебряное копытце»; и за эти акварели сестра приносила из кухни чашу манной каши и полведра компота.

---

[6]В Русское Средневековье православного без бороды батюшка не благословлял, а помрет — прямая дорога в ад. «Бог создал человека бородатым: только коты и псы не имеют ее» — говорил патриарх Адриан. Русские полагали: мол, бритье бороды и усов ведет к содомии, ибо лицо мужика становилось круглым и гладким — бабьим… «Митрополит Даниил в двенадцатом поучении сурово осуждает женоподобных парней и мужиков: «…женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяеши…» Постриженье бороды, усов в допетровскую эпоху считалось тяжким грехом, уподоблялось мужеложеству и прелюбодейству, наказываясь отлучением от церкви. Человек создан по подобию Божию и, следовательно, грешно по-своему искажать божественный облик. Противники Петровского брадобрейства утверждали: «…людей, кто бороды бреет, не велено в земле погребать», а следует «яко же пса кинуть в ров», а посему многие, проклиная брадобрея Петра, испорченного европами, сохраняли свои насильно отрезанные бороды и завещали положить после их смерти в гроб, чтобы предъявить на том свете.

Пока я поминал свои детские деревенские годы, ребятишки, похлебав киселя, гомонящей стаей полетели на заснеженный двор; и я, отведав манной каши, побрел следом. «Ну, — думаю, — умеете бороду драть, умейте и свою подставлять…» Подумал я эдак, и карапуз, что возжелал потрогать мою бороду, вдруг вообразился бородатым, со старческими круглыми очёчками, жалобно висящими на переносице…

В голубоватом заснеженном саду запрягли меня в лёгонькие санки, и я катал детишек, а в отместку *за бороду* взбрыкивал с лошажьим ржанием, круто поворачивал, сваливая в снег весёлых седоков. Увы, вышло, не отомстил, а ублажил: вынырнув из снежных суметов, огольцы с радостными воплями снова лезли в санки. Ух, и упарился же я, и воскликнул: «Эй, Косопят, борода седа до пят!.. угомони-ко малых ребят!..» Притихли чадушки, задумались, а я откланялся: «Храни вас Боже, отроче младо!..»

Глядя на ребятишек, что мурашами роились в пышных сугробах, вспомнил: давненько …в обед — сто лет… семья моя обитала в Нижнеангарске, — меня и жену, вчерашних студентов, с годовалой Аленой бросили на Северный Байкал воспевать Байкало-Амурскую магистраль. И воспевали в духе бродячих, костровых песен:

Где-то багульник на сопках цветет,
Кедры вонзаются в небо…

Возле палатки закружится дым,
Вспыхнет костер над рекою…

И помню …кажется, на святой седьмице, когда батюшко-Байкал залег в ледяную берлогу и стихла рождественская стужа… помню, вез я Аленушку из детских яслей, рысью …с горы же… мчал на санках по накатанной тропе, что тускло посвечивала в дремотном свете изветшавшей луны. В шубейке до пят, увязанная пуховой шалью, дочь, откинувшись на спинку, полеживала барыней, косилась на избяные окошки, откуда лучился теплый и ласковый свет. Из репродуктора, висящего над почтой, гремела на весь поселок задорная бамовская песнь:

Рельсы упрямо режут тайгу,
Дерзко и прямо, в зной и пургу,
Веселей, ребята, выпало нам,
Строить путь железный, а короче, БАМ…

Что греха таить, будучи навеселе, торопясь в дружеское застолье, не вем, сколь и пробежал я с хребта к Байкалу; и вдруг… вдруг учуял: с пустыми санями, паря, бегу; оглянулся: мамочки родны, Алену по дороге потерял. Перепугавшись, рванул обратно в хребет, треть версты отмахал, да подле яслей и нашел потерю: укутанная в шубу, словно в тунгусскую малицу[7], сверху повязанная козьей шалью, тихо-мирно полеживала дочь на обочине тропы, задумчиво глядела на мигающие звездочки. Помнится, с горьким вздохом подумал: поэт либо живописец растет, и словно в ясную байкальскую воду глядел…

Давненько родился на белый свет «Косопят-борода до пят» — рождение сказки заросло бурым и сизым мхом да брусничником, словно таежная валежина, — и по ветхой памяти забыл я, где в судьбе сказки быль, где небылица про синегривую кобылицу, и ежели чего сбрехал, простите, — лепоты ради украшал.

Лето, осень 2014 года, осень 2017 года

---

[7] *Малица (ненецк. мальця) — мужская одежда ненцев и части хантов и коми (оленеводов), длинная без разреза рубаха с капюшоном из оленьих шкур мехом внутрь.*